



Марина
Тарковская

Тарковский:

Осколки зеркала

Литературные биографии

Марина Тарковская
Тарковские. Осколки зеркала

«Издательство АСТ»

2018

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Тарковская М. А.

Тарковские. Осколки зеркала / М. А. Тарковская —
«Издательство АСТ», 2018 — (Литературные биографии)

ISBN 978-5-17-107700-6

Марина Арсеньевна – дочь поэта Арсения Тарковского и сестра кинорежиссера Андрея Тарковского – пишет об истории семьи, о детстве, о судьбе родителей и сложном диалоге отца и сына – Арсения и Андрея Тарковских, который они вели всю жизнь. «Я пришла к убеждению, что в своих рассказах-воспоминаниях должна говорить всю правду, какой бы горькой она ни была. Осколки, когда их берешь в руки, больно ранят, но иначе не сложить того зеркала, перед которым прошла жизнь моих близких». Марина Тарковская.

УДК 882-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-107700-6

© Тарковская М. А., 2018
© Издательство АСТ, 2018

Содержание

От автора	6
Тарковские: осколки зеркала	7
Родословная	7
Встречи с папой	11
Калоши	12
Задний двор	13
Стеклянные глаза	15
Записки о писателях	16
Собаки	18
Елисаветградский дедушка	19
Реальное училище	21
Окончание реального училища. Что дальше?	24
Битюгово	26
Маскарадные костюмы	27
Утренник	28
Мадам Эжени. Перепись населения	29
Кусок торта	31
Начальная школа. Веснушки и любовь	33
1-й Щиповский переулок, дом 26, квартира 2	35
Пальто на ватине	37
Начало	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Марина Тарковская

Тарковские. Осколки зеркала

© Тарковская М.А., 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

* * *

Нет в мире человека, над которым прошедшее приобретало бы такую власть, как надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болезненно ударяет в мою душу и извлекает из нее все те же звуки...

М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени»

От автора

После ухода из жизни моих близких – мамы, Андрея, отца, в их память, я занялась историей семьи Тарковских. Семьи, с одной стороны, необыкновенной – ведь из нее вышли такие яркие личности, как дед, Александр Карлович, бунтарь, поэт, журналист, как наш отец Арсений Тарковский, как Андрей. С другой стороны, семьи вполне обычной, потому что ее история типична для многих дворянских семей. Родовитые фамилии сливались с неродовитыми, не заботясь о чистоте крови, а после революции, потеряв то небольшое, что имели, растворились среди многомиллионного народа, вместе с которым пережили все тяготы, выпавшие ему на долю.

Как известно, гены предков сохраняются в крови потомков и во многом определяют их характер. Золотоордынская княжна, Дубасовы и Пшеславские, Лопухины и Корженевские, Тарковские и Вишняковы... Что из этой генетической кладовой досталось Андрею? В нем угадывались страстность, гордость и благородство Александра Тарковского, упорство и неумение разбираться в людях деда с материнской стороны Ивана Вишнякова, талант и одержимость отца, отвага и преданность делу дяди, Валерия Тарковского, бескомпромиссность и душевный такт матери...

Книга замышлялась мною как семейная хроника, основанная на документальных материалах. Много времени ушло на их сбор, на поездки в города, связанные с биографией семьи, на работу в архивах России и Украины. Но воспоминания, далекие и близкие, вылились в форму коротких рассказов, каждый из которых вполне мог бы существовать автономно. Однако документальные свидетельства и находки вошли в очерки, составившие немалую часть книги. Я сочла необходимым также включить в состав книги главы, касающиеся лирической поэзии Арсения Тарковского, которую невозможно отделить от его личной судьбы.

Хочу подчеркнуть, что сведения, касающиеся истории семьи, особенно происхождения рода Тарковских, мною документально выверены и к ним необходимо относиться с полным доверием.

После долгих раздумий и сомнений я пришла к убеждению, что в своих рассказах-воспоминаниях я должна говорить всю правду, какой бы горькой она ни была. Осколки, когда их берешь в руки, больно ранят, но иначе не сложить того зеркала, перед которым прошла жизнь моих близких.

Первое издание книги вышло в 1999 году в московском издательстве «Дедалус». Во второе издание (Вагриус, 2006) были включены тридцать пять новых рассказов, новые фотографии и документы. Вы держите в руках третье издание, исправленное и дополненное.

Благодарю от всего сердца всех, кто помог мне в работе: В.Амирханяна, Р.Любарского, И.Абрамову (Вишнякову), В.Фридгельм и др.

Особая благодарность фотомастерам, чьи работы представлены в этой книге.

Преклоняюсь перед памятью Л.В.Горнунга, создавшего фотогалерею семьи Тарковских, которая легла в основу фильма Андрея Тарковского «Зеркало»; фотографии из нее украшают страницы этой книги.

Очень хочу, чтобы мои внуки – Наташа, Коля, Мила и Ермак Тарковские, Миша и Андрюша Ясенявские – узнали из этой книги свою родословную и постарались быть достойными ее продолжателями.

М.Тарковская

Тарковские: осколки зеркала

Родословная

При советской власти граждане писали в анкетах, что они происходят из служащих, если, конечно, не были из рабочих или из крестьян. Ну совершенно никого не было из дворян. А теперь дворяне вышли из подполья и даже организовали свое общество. Храбрые люди русские дворяне, ведь неизвестно, какой еще вираж сделает история нашей родины...

Мамина мать, бабушка Вера Николаевна, встретила Февральскую революцию с красным бантом на отвороте труакара¹. Однако спустя год она уже тщательно соскоблила свою фамилию с семейных фотографий. Милая, наивная бабуся Веруся! Я думаю, что «органы», заинтересовавшись фотографиями, быстренько бы дознались, что там было написано. И бабушке бы не поздоровилось, потому что в девичестве она носила фамилию Дубасова. «Первое упоминание о Дубасовых в летописи – думный боярин при царе Алексее Михайловиче», – говорила бабушка со слов своего отца. Адмиралу Дубасову, уроженцу Петербурга, московскому генерал-губернатору, в 1905 году отдавшему приказ о расстреле рабочей демократии, он приходился дальним родственником и не был с ним даже знаком.

Бабушкин отец, Николай Васильевич Дубасов, был очень добрым человеком. Его любили и родные, и крестьяне, жившие в деревне рядом с его имением Переверзево в Калужской губернии. Когда начались волнения, они приходили к нему и говорили: «Мы тебя, Василич, в обиду не дадим». Наверное, только историческая необходимость заставила крестьян разорить в революцию дом любимого соседа и выкинуть из семейного склепа его останки...

В 1905 году бабушка вышла замуж за дедушку – Ивана Ивановича Вишнякова. Он был родом из Калуги, дед его был протоиерей, отец – казначей Калужского губернского казначейства, получившего личное дворянство, не передающееся по наследству. Этот мезальянс оправдывался тем, что дедушка был судья, «универсант». Он окончил Московский университет и был очень образованным человеком. Знакомые называли его «ходячая энциклопедия». В 1907 году у Вишняковых родилась дочь Мария – наша с Андреем мать.

Сколько я себя помню, в разговорах о папином происхождении, а мы с Андреем всегда этим интересовались, присутствовала польская тема.

Но бывает так, что какие-то незначительные случаи, рассказы, байки по мере их существования дополняются, домысливаются и приобретают в конце концов окраску некоторой подлинности.

Кавказская версия происхождения рода Тарковских родилась из двух папиных рассказов. Первый рассказ о том, как кто-то, естественно еще до революции, пришел к его отцу, Александру Карловичу Тарковскому, жившему в городе Елисаветграде Херсонской губернии, и предложил ему унаследовать в Дагестане какие-то бесхозные табуны и серебряные копи. Естественно, дедушка отказался, и не только потому, что был врагом частной собственности, а еще и потому, что хорошо знал свою родословную, которая никак не была связана с Кавказом.

Второй рассказ папы был о том, как в конце тридцатых годов он в составе делегации советских писателей побывал в Дагестане. Какой-то местный старец, услышав его фамилию, подошел к нему и со словами «Ты наш князь» хотел поцеловать его руку. Естественно, что папу смутило такое заявление, и понятно почему – ему вовсе не хотелось оказаться за решеткой.

¹ Пальто длиною в три четверти.

Вот, собственно, и все источники версии о дагестанском происхождении «наших» Тарковских. А дальше эти рассказы папы пошли гулять по свету, часто в искаженном виде. Андрей очень охотно и убедительно рассказывал друзьям о своих «кавказских княжеских» корнях. Папа тоже включился в игру, и если в молодости он никогда не заговаривал о дагестанском происхождении, то позже в разговорах не возражал против него.

Но одно дело устные рассказы, шутливая мистификация, а другое дело – документы, которые беспристрастно и достоверно доносят до нас историческую правду.

Итак, обратимся в далекое прошлое. Согласно «Малороссийскому гербовнику», в 1785 году Государыня Императрица Екатерина II издала указ, давший возможность малороссийским старшинам записываться в дворянские родословные книги. Этот указ возбудил интерес к прошлому, к предкам и побудил огромное количество украинских и польских родов, живших на территории Российской империи, к поискам доказательств своего благородного происхождения. Для разбора подобных дел в губерниях были учреждены специальные комиссии, которые изучали права претендентов на дворянское достоинство.

Еще раз хочу упомянуть о документах, хранившихся в домашнем архиве папиного отца, Александра Карловича. После его смерти в 1924 году документы оставались у папиной матери, Марии Даниловны. А после смерти Марии Даниловны они несколько лет находились у дочери Александра Карловича от первого его брака – Леониллы Александровны.

Леонилла Александровна, тетя Лёня, как мы ее называли, передала чемодан с семейным архивом нашей маме. Мы с Андреем были тогда подростками и не могли понять всей ценности этого архива. Мы извлекли из чемодана пергамент с генеалогическим древом Тарковских, Патент 1803 года, подтверждающий дворянство рода Тарковских (тоже на пергаменте), и печать Карла Матвеевича с гербом – для запечатывания писем сургучом. Мне приглянулись еще наволочка, видимо вышитая Марией Даниловной, и саше – конверт для носовых платков.

На пергаменте тушью были нарисованы кружочки, в каждый из которых было вписано имя. Я помню, что нашла имя папы и его брата Вали. Более далекие предки меня тогда не интересовали. Патент, написанный по-польски, подтверждал дворянские привилегии майора Матвея Тарковского. Из этой грамоты и из «Дела Волынского Дворянского собрания о дворянском происхождении рода Тарковских» ясно, что прапрапрадед, прапрадед, прадед и дед папы жили на Украине и были военными. Они исповедовали римско-католическую религию, а папин отец был записан в церковной книге православным и считал себя русским.

Взрослые – мама и бабушка – не обращали внимания на наше варварское обращение с архивом. Слава богу, что большинство этих предметов сохранилось. Пропало лишь генеалогическое древо. Куда оно делось, не знаю – то ли Андрей отнес его к друзьям, где оно и затерялось, то ли его украл наш сосед, малолетний жулик.

Когда я выросла, то предложила маме передать чемодан с бумагами Тарковских папе. Мама согласилась, и я, не заглядывая в чемодан, отнесла его папе, который жил тогда у метро «Аэропорт». Папа был счастлив обрести семейные документы и очень внимательно работал с ними – разложил по папкам, надписал каждую.

Помимо документов из семейного архива, которые ничего не сообщают о кавказской версии, существуют документы, хранящиеся в украинских архивах.

Документы эти рассказывают следующее: после появления указа Екатерины II наш предок, Матвей Тарковский, будучи еще совсем молодым человеком, начал хлопоты о внесении рода Тарковских в дворянские книги. Сначала он получил подтверждение дворянства по месту жительства, в Житомире, о чем свидетельствует Патент 1803 года.

Затем последовало бюрократическое дело, которое длилось ни много ни мало сорок девять лет. За эти годы «Дело о дворянском происхождении рода Тарковских» обросло документами – прошениями, дополнительными родословными, посемейными списками и прочими

документами, необходимыми для Отдела Гербальдии Правительствующего Сената, всего на 38 листах.

Из документов, призванных доказать дворянство рода, следует, что предок рода Тарковских, Войцех, владея имениями в селениях Орлинец и Былинец в Заславском уезде на Волынской губернии, в 1720 году вместе со своим несовершеннолетним сыном Францем уступил свои владения «мозырскому скарбнику (то есть казначею. – *М.Т.*) Игнатию Беляковскому за сумму, у него занятую».

На землях, принадлежавших когда-то Войцеху Тарковскому, не было крепостных крестьян, что являлось дополнительным препятствием для подтверждения дворянства и записи в дворянской книге.

Но в конце концов «Дело» было решено, и в 1852 году Тарковские получили дворянский титул и герб. Герб, изображенный в «Родословной книге Волынской губернии», в ее 6-й части, выданный в Заславе еще в 1803 году, – «в красном поле две клямры (пряжки), на укос положенные». Однако на печати Карла Матвеевича герб выглядит значительно пышнее – там и знамена, и пушки, и страусовые перья.

Как ясно из архивных документов (многие из них написаны по-польски), наш предок Войцех Тарковский из Люблина и его сын Франц жили в городе Заслав Волынской губернии (теперь город Изяслав Хмельницкой области). Богатыми отнюдь не были, ибо земли, которыми они владели, были отданы ими за долги.

О Франце Тарковском известно, что он был женат на Элеоноре и имел сына Мацея, то есть Матвея, того самого, что с таким упорством добивался признания Тарковских дворянами.

Имя Матвея Тарковского, сына Франца, внука Войцеха, встречается во многих бумагах «Дела о дворянстве». Он, как упоминалось выше, начал хлопоты о записи его семьи в дворянские книги. В книге «Посемейные списки о Дворянах Заславского уезда от 1834 г.» под № 506 есть запись: «Матвей Францишек сын Тарковский – 1780 г. – 54 г.; жена его Юлианна Ивановна из дома Кардасевичей – 32 г.; сыновья Иосиф – 20, Кароль – 19 (состоят на российской военной службе); Александр – 11 лет».

Матвей Тарковский земель и крепостных не имел, в какой-либо службе (по документу 1827 года) не состоял. Делом всей его жизни была борьба за дворянское звание, которое он получил ровно за год до своей смерти.

«1853 года декабря 30 дня в г. Заслав скончался Матвей Тарковский с водяной опухолью, был причащен святыя таинств. Дворянин Матвей Тарковский, имеющий от роду 76 лет (Матвей Тарковский родился в 1780 году, значит, умер он 73-х лет. – *М.Т.*), прихожанин сей Церкви (Святого Иоанна), оставил после себя жену Юлию, сыновей Иосифа и Карла. Тело его ксендз Бернардин Поплавский текущего года декабря 30 дня публично на приходском кладбище похоронил».

После смерти Матвея Францевича (называю своего прапрадедушку-поляка на русский лад), как видно из записи в церковной книге, остались его вдова и два сына – Иосиф-Матвей (двух имен), родившийся в 1814 году, и Карл, родившийся в 1815 году. Младшего сына, Александра, родившегося в 1823-м, к 1853 году уже не было в живых.

Сын Матвея, Карл Матвеевич Тарковский, папин дедушка, был военным. Выйдя в отставку, жил в городе Елисаветграде Херсонской губернии.

Хочу добавить, что ни в одном документе – ни в «Деле о дворянстве», ни в семейном архиве – не присутствует рядом с фамилией Тарковских титул «князь». И даже в юности в веселой компании друзей папа носил шутовское прозвище «граф».

Как ни грустно, придется все-таки проститься с гордым кавказским шамхальским званием. Я повторю слова, которые часто говорил папа: «Мы, Тарковские, – из польской шляхты».

Тарковские были светловолосыми и светлоглазыми. Это папина мать, Мария Даниловна, дочь кишиневского почтмейстера, надворного советника Рачковского, была черной в свою бабу-румынку. Она-то и смешала карты. Папина фамилия и его черная масть давали основание дагестанцам считать его своим, а некоторым русским – задаваться традиционным вопросом: не еврей ли Тарковский? Этот вопрос еще до войны интересовал наших соседей по дому. Соседка Смирнова, например, отвечала на него утвердительно. Папина национальность волновала и некоторых слушателей на поэтических вечерах, которые спрашивали его об этом в анонимных записках. Папа на такие записки не отвечал. Он вырос в Новороссии, в городе, где жили поляки, русские, украинцы, евреи, сербы, немцы, и с детства привык судить о людях по их человеческим качествам. Он вообще был немного старомоден – целовал дамам ручки и не подавал руки подлецам.

Встречи с папой

С 1937 года папа жил недалеко от нас – мы в 1-м Щиповском², а он с Антониной Александровной и с ее дочкой Лялей – в Партийном переулке³. Меня тогда удивляло – рядом был Арсеньевский переулок, а папа – Арсений – живет в Партийном, хотя партийным не был. И живет не со мной и с Андрюшей, а с чужой девочкой Лялей, хотя папа он наш, а не ее...

Однажды я гуляла возле дома. И вдруг в начале переулка увидела человека в коричневом кожаном пальто. Это папа! И я бросилась бежать к нему навстречу. Ребятишки, с которыми я играла, смотрели мне вслед, и я представляла, как буду возвращаться, держа папу за руку. Но, пробежав полдороги, я увидела, что это не папа, а совсем чужой человек. Радость сменилась отчаянием, горло перехватило. Но я продолжала бежать и, поравнявшись с человеком в кожаном пальто, промчалась дальше. Чтобы он не понял, что я бежала к нему навстречу. Вернее, не к нему, а к папе...

А как-то раз папа с Антониной Александровной подошли к нам с Андреем на Ляпинке⁴. Дали нам по яблоку, постояли и ушли. А мы остались – гулять. Мама говорила, что гулять очень полезно. Она часто встречала папу в ближайшем магазине, у «Ильича»⁵. Мама покупала, как всегда, хлеб, молоко и масло, а папа говорил: «Маруся, как хорошо, что я тебя встретил. Подожди меня, мне надо позвонить Тоне». Он звонил из автомата, висевшего внутри магазина, перечислял пирожные, которые продавались в тот день, и спрашивал Тоню, какие купить. Потом он покупал пирожные, и они вместе выходили из магазина. Мама шла к нам, а папа – к Тоне.

² Сейчас переулок почему-то переименован в 1-й Щипковский.

³ Бывший 3-й Щиповский переулок был так переименован по когда-то располагавшемуся тут Москворецкому райкому ВКП(б).

⁴ Квартал домов и сквер на месте, где были общежития и храм Иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость», сохранившийся по сей час в изуродованном виде, построенные для студентов купцом Ляпиным. Находятся между 2-м Щиповским переулком и Серпуховской улицей.

⁵ Продуктовый магазин, к которому когда-то были прикреплены рабочие завода им. Ильича.

Калоши

Наш переулок был застроен одноэтажными и двухэтажными домами и вымощен булыжником. Машины по нему ездили редко, но однажды проехал мотоцикл. Мы бежали за ним и кричали: «Мотоциклетка! Мотоциклетка!»

Зимой переулок был завален снегом. Снег тогда не вывозили. Дворник, всегда сердитый дядя Иван, сгребал его в большие сугробы, которые возвышались вдоль тротуара. Андрей любил валяться в сугробах, и за это дворник гонял его метлой. А я любила есть «вафли» – снежные следы от калош. Самые хорошие «вафли» получались от комбинации свежего сырого снега и новых калош. Прохожих в новых калошах было мало, и их приходилось подолгу ждать. Лучше всего, когда у тебя у самой новые калоши. Они черные, блестящие, изнутри проклеены нежной красной байкой, и от них остро пахнет резиной. И «вафель» можно наделать сколько угодно, а не гоняться за прохожими.

Когда мы подросли, очарование от калош пропало. Нам уже не хотелось их надевать, и из-за этого у нас была постоянная война с бабушкой. Новых калош не было, а старые – это нечто противоположное новым. Они тусклые, серовато-мутные, с грязной вытертой подкладкой, с подвертывающимися задниками. И тяжелые.

Андрей первым отвоевал право ходить без калош. Бабушка к нему уже и не приставала, не то что ко мне. «Ба, я пошла!» – «Надень калоши!» – «Ладно, ладно!» И – бегом из дома. Как легко идти без калош по весенней улице! Какой праздник, какое ликование!

А теперь все ходят без калош и не видят в этом ничего особенного.

Задний двор

Напрасно мы возвращаемся в места, которые любили; мы никогда их больше не увидим, потому что расположены они были не в пространстве, а во времени...

А.Моруа. «В поисках Марселя Пруста»

Окна наших двух десятиметровых комнат выходили на противоположную улице сторону. Первое – в узкий проход между двумя частями дома, прямо в кирпичную кладку стены. Поэтому в этой комнатке почти всегда горело электричество. Второе окно глядело в пространство так называемого «заднего двора». Во дворе этом не росло ни одного дерева, ни одной травинки. (Став постарше, я посадила там два тополя, которые спилили уже много лет тому назад, когда проходила кампания борьбы с тополиным пухом.) Дворик этот казался уютным, потому что был со всех сторон замкнут. От соседнего, такого же двухэтажного дома его отделяла высокая кирпичная противопожарная стена – брандмауэр. Другую стену образовывал заводской корпус, тоже из красного кирпича, потом шел деревянный забор, отделявший заводскую территорию, потом, перпендикулярно забору, вторая часть нашего дома. Таким образом получался почти квадрат с небольшим аппендиксом в сторону улицы – проходом на помойку.

Мимо наших окон мелькали с помойными ведрами жильцы всего дома. Зимой они высказывали чаще всего раздетыми, пробежали быстро, летом шли медленнее – в домашних одеяниях: дамы – в ситцевых халатах, джентльмены – в черных сатиновых шароварах или трусах – до войны, да и после войны в Замоскворечье царили простые нравы. Но мы привыкли и как-то не замечали этого помоечного неудобства, как не замечают жильцы нижних этажей современных домов проезжающие мимо автомобили.

Разбирая мамнины записочки, я нашла одну – на листочке в косую линейку мама написала карандашом точную характеристику заднего двора:

«В хорошую погоду вся жизнь нашего дома происходит на нашем дворике. Выбиваются ковры, сушится белье, когда это совпадает – ссорятся бабы. Моются вонючие кадушки из-под солений, шпаются клопные матрацы, чинится мебель: что-то без конца пилят и куда-то вбивают гвозди.

Ребятишки всех возрастов детского сада играют в мяч, дерутся, падают и плачут. Вообще же население нашего дома очень деятельно и миролюбиво, что, безусловно, связано одно с другим, так как вздорность и склоки идут обычно от безделья».

В этой записи меня удивило не представленное в ней убожество быта, который я хорошо помнила, а отношение мамы к окружающим, отсутствие у нее раздражения и злости на обитателей дома № 26 по 1-му Щиповскому переулку. Ведь пыль и шум от выбиваемых половиков летели нам прямо в окно, а детские игры в мяч были чреваты разбитыми стеклами.

На задний двор привозили дрова, хорошо если березовые. Как были нам знакомы эти бревна со всеми их особенностями: наростами, грибами-трутовиками, чагой, какой-то розоватой, довольно аппетитной на вид плесенью. (А может быть, это застывший березовый сок? Не случайно в «Рублеве» голодная Дурочка ест ее.) Сколько бревен мы перепилили с Андреем, когда чуть повзрослели! Тянешь и тянешь за ручку эту пилу, туда-сюда, туда-сюда. Уставала я быстро, после scarлатины жила с пороком сердца, но на это никто не обращал тогда внимания. А потом Андрей колол дрова. Он здорово умел это делать, ударял по чурбаку именно туда, куда надо, минуя сучки. Но иногда попадались такие сучковатые поленья, что и он не справлялся...

И все равно хочется сказать – милый наш задний двор! Безопасное и уютное место детского гуляния и детских игр рядом с сараями, где хранились старые велосипеды, дрова и бутылки с керосином. Место, где мы узнавали и первые радости, и первое горе.

Я стою во дворе и смотрю в голубое небо, где за крышей дома исчезает в высоте воздушный шарик, который я только что держала в руке за тонкую нитку, ощущая его живое и настойчивое желание взмыть. И пальцы почему-то разжались, и я стою и смотрю вслед шарiku, и плачу – совсем как в песне Окуджавы. И меня утешает мама, хотя я и нарушила ее веление – не разматывать нитку, замотанную вокруг большой белой перламутровой пуговицы моего пальтишка...

Стеклянные глаза

Осенью сорок третьего года в Переделкине было совсем пусто. Писатели еще не вернулись в свой поселок, литфондовский пионерлагерь, который летом размещался на даче расстрелянного писателя Бруно Ясенского⁶, закрылся. Мама была в лагере воспитательницей, а теперь стала сторожем лагерного имущества. Но она постоянно ездила в Москву, где у нее были дела и где жили бабушка и Андрей. За Андреем надо было присматривать, чтобы он не попал в плохую компанию. Поэтому дача и имущество охранялись мною.

Наша комната была маленькая, но зато с печкой. В нее и сейчас можно попасть с того же крылечка в три ступеньки.

Шумят вокруг дачи высокие деревья, ухает филин, а я одна в большом двухэтажном доме. Да еще книжка попала страшная – джунгли, пропасти, погони и в довершение ужасов – «львиное лицо прокаженного»...

Так я и жила, то есть ждала маму. Однажды нечаянно съела «завтрашнюю» котлету. Но в школу ходила исправно. Школа была в деревне за прудом – четырехклассная. Я училась во втором. В коридоре на голубом щите висел плакат – карикатура на Гитлера «Не так страшен черт, как его малюют». Гитлер на нем был так омерзителен, ничтожен и напуган при виде советского штыка, что было непонятно, почему разгорелся весь этот сыр-бор с войной. Взять бы да и прикончить сразу гада!

Директор школы, высокий и лысый человек, преподавал пение. Он с серьезным лицом, сдвинув брови, играл на скрипке, а мы выводили хором: «Выйду ль я на реченьку-у...»

Нашу учительницу звали Валентина Петровна. Она учила нас писать-читать и говорила, что произносить надо не «жаворонок», а «жаворонок», потому что так слышалось в известной песне Глинки. А еще она носила горжетку – потрепанную рыжую лису с одним глазом. Учительница думала, что я богатая, и однажды недвусмысленно намекнула, что у нее скоро будет день рождения. У меня ничего не было ей в подарок, только тонкий металлический обруч для головы. Учительница обруч взяла, но по тому, как она поджала губы, я поняла, что не оправдала ее надежд. И это меня мучило.

Выручил случай. По соседству, на инберовской даче, вдруг поселилось семейство. И не какое-нибудь по военному времени ущербное, а в полном составе. Там были родители, дети, бабушки и даже дедушка. И это семейство дружно занималось странным делом – вставляло стеклянные глаза игрушкам. Весь дом был завален безглазыми кошками, собаками и медведями. Несколько ловких движений – и они становились зрячими. Меня это потрясало и завораживало. Теперь литфондовская дача подолгу оставалась без сторожа – я торчала у соседей. Это были добрые люди, и они дали мне два глаза для учительской лисы. Два на тот случай, если старый окажется другого калибра. Таким образом лиса прозрела, и чувство вины перед Валентиной Петровной испарилось из моей души.

Вставили новые глаза и моему медведю-девочке – Малашке. Когда-то в нее играла мама и не расставалась с ней даже во время кори. После кори Малашку пришлось прокипятить, и тогда она почти полностью облезла. Пока не было нас, в нее играли и мама, и папа. Есть фотография, где они все вместе.

Когда у Малашки потерялись глаза, я не помню. Новые оказались великоваты и придали ей слишком грустное выражение. Теперь она сидит на комод у нашей внучки Милочки – они очень полюбили друг друга.

⁶ Сейчас эта дача является одним из корпусов Дома творчества писателей.

Записки о писателях

Так получилось, что когда-то мне пришлось жить в Переделкине, видеть писательские дачи и даже встречаться с некоторыми из известных их обитателей. Встречи были случайные, и я думаю, что эти серьезные люди сразу же забывали о черненькой худышке, на которую однажды упал их взор. Но я почему-то хорошо запомнила эти ничего не значащие эпизоды.

Как-то папа взял меня с собой на дачу к Корнею Ивановичу Чуковскому. Я была очень застенчивой, и внимание взрослых превращалось для меня в пытку. Теперь я ужасно боялась «дедушки Чуковского», того рекламного друга детворы, которого я видела в детских книгах и журналах. Я тащилась за папой, трясаясь от страха, что этот приторный старичок будет брать меня на колени и спрашивать, знаю ли я наизусть «Муху-Цокотуху». Но все оказалось иначе.

На мрачном тенистом участке у дачи нас встретил высокий седой старик. Выражение лица у него было озабоченное, почти сердитое. Он поздоровался с нами, поговорил о чем-то с папой, и мы ушли, даже не зайдя в дом. Я зря боялась – на меня Чуковский не обратил никакого внимания.

...Было яркое весеннее утро. Я и моя подруга Ира Красноцветова пошли прогуляться по поселку. Идем мимо писательских дач. Дачи слева, справа поле, вдаль, на горе, кладбище. Мы не знали тогда, что пейзаж этот, воспетый Пастернаком, станет знаменитым, и относились к тому, что видели, безо всякого пиетета.

Идем мимо голубой дачи Павленко. У Павленко все голубое – и дача, и обложка книги «Счастье», я уж не говорю о ее содержании. Правда, «Счастье» я прочла позже, мы его после войны, в седьмом классе, проходили.

Идем с Иркой, настроение хорошее... Разговариваем о том, что на участке у Федина растут ландыши, но нарвать их никому не удастся – уж очень хорошо охраняет их хозяин. Подходим к фединской даче, взявшись за руки, – Ирка длинная, я маленькая, но обе по военному времени тощие, и у обеих по две тонких косички.

И тут мы видим, что в саду за забором человек обрезает розы большими садовыми ножницами. Мы остановились с разинутыми ртами, потому что никогда еще не видели никого за таким занятием. А человек высокий, чуть сутулый, и брови торчком над круглыми глазами. И мы понимаем, что это сам Федин, который так хорошо стережет свои ландыши.

Вдруг Ирка мне шепчет: «Попроси-ка у него ножницы! Мне надо ногти на ногах постричь». Придет же такая блажь в голову! Но чего не сделаешь ради друга, и я очень вежливо говорю Федину: «Дайте нам, пожалуйста, на минуточку ножницы». Он изумился, подошел к забору и спрашивает: «А зачем они вам?» Мне было стыдно говорить правду и пришлось врать: «У этой девочки шнурок на ботинке запутался, надо его разрезать». Тут Ирка быстренько нагнулась и стала делать вид, будто пытается развязать шнурок.

Но Федин сейчас же нашелся, уж очень ему не хотелось давать ножницы незнакомым девочкам: «Ну зачем же резать шнурок? Идите сюда, я вам его помогу развязать!»

Тогда мы что-то залепетали в ответ и бросились бежать. Бежали и умирали со смеху. И дома еще долго не могли успокоиться. А чего, собственно, тут было смешного?

Бедное, глупое детство!

А юность? Почему мы бываем такими легкомысленно-расточительными в юности? Почему, например, я отказалась поехать к Анне Ахматовой, когда папа звал меня с собой? Быть свидетелем встречи Ахматовой и Тарковского – за это любой поклонник поэзии многое бы отдал. А я постеснялась...

В ранней молодости я дружила с Евгенией Владимировной Пастернак. Господи, что я такое говорю – «я дружила». Это она – милая, добрая, с высоким открытым лбом и с «улыбкой взхлеб» – удостоила меня своей дружбы. Не знаю, чем я ей понравилась, но мне кажется, что

тогда она очень страдала от одиночества. С Евгенией Владимировной было легко, она быстро растопила мою нелюдимость. Мы ездили с ней за город – в Тучково, в Ладыжино, что под Тарусой, она любила и понимала природу. Евгения Владимировна была художницей, ученицей Фалька. Она показывала мне свои картины, они были развешаны по стенам, стояли на полу у стены – натюрморты, портреты. Улыбаясь, сетовала, что знаменитые советские дамы, Тамара Макарова и Людмила Толстая, так и не купили свои портреты, написанные ею.

Мой портрет, который она не успела закончить, был последней ее работой. Конечно, тогда он мне не понравился, я получилась совсем некрасивой. А Евгении Владимировне удалось главное – поймать и передать в глазах, в робкой улыбке мою суть.

Она много мне рассказывала о семье Пастернака, о его родителях, сестрах. Однажды поведала о семейном горе – об увлечении Бориса Леонидовича Ивинской. Но, честно говоря, я не очень вникала в ее рассказы. Это была чужая жизнь, а чужая жизнь меня тогда мало интересовала. Наступала весна, и я была влюблена...

От Евгении Владимировны я знала, что Борис Леонидович каждый месяц приносит ей деньги. Он помогал не только своей бывшей жене – многие помнили его доброту.

Как-то, придя к ней на Дорогомиловскую набережную, я увидела, что она вся сияет: «Пришел Боря!» Она знакомила меня с Пастернаком так, будто дарила мне что-то необыкновенно драгоценное. Мне же он показался совсем обыкновенным – волосы с проседью, серое пальто. Я и не рассмотрела его как следует.

Но произнесенная глуховатым голосом фраза «Ваше лицо мне знакомо» смутила меня. Этот голос и значительность его интонации заставили меня внимательнее взглянуть на Бориса Леонидовича.

Но он, торопливо распрощавшись, уже сбегал по лестнице.

Собаки

За два года до войны, летом тридцать девятого, папа со своей новой подругой Антониной Александровной Бохоновой и ее дочкой Лялей уехал на Кавказ переводить национальных поэтов. Там, в Чечено-Ингушетии, папе подарили щенка кавказской овчарки. Его привезли в Москву, и осенью этот щенок по имени Барбука оказался у нас. Вот как об этом рассказывает Антонина Александровна в письме к папе в Ленинград (сентябрь 1939 года): «Потом, Вы знаете, я отдала Барбуку Марусе. Вы не сердитесь на меня. Тося (домработница. – М.Т.) очень капризничала с ней, а меня целыми днями не бывает, и Барбука никого не слушалась. А Маруся очень довольна за ребят – они ее все время ждали. Расстались мы с Барбукой очень трогательно; она стала совсем большая и в комнате ее, вероятно, нельзя держать. Но может быть, Маруся с ней справится». Мама щенка взяла на наши двадцать метров, где жили мама, бабушка, Андрей и я. Щенок рос, и у него чесались зубки. Поэтому он грыз все подряд. Изгрыз все домашние туфли, часть наших игрушек и бабушкин диван из красного плюша. Съедал Барбука огромное количество овсяного супа и вскоре превратился в громадного лохматого пса. Такие собаки охраняют от волков отары на горных пастбищах, а не живут в московских коммуналках. Мама взмолилась, и папа с большим трудом нашел Барбуке хозяина. Приехал человек и увел его на поводке. Но мы почему-то не очень жалели Барбуку.

Прошла война. Папа жил уже в Варсонофьевском переулке. Однажды он шел по Кузнецкому мосту мимо зоомагазина, и там пьяный мужик продавал маленького грязно-серого щенка. Мужик, сильно качаясь, грозился убить щенка, если его немедленно не купят. Папа не вынес угроз и купил, хотя жил на шестом этаже без лифта и ходил на костылях. Он положил щенка за пазуху, а добравшись до дома, обнаружил у него несметное количество насекомых. В панике он вызвал по телефону маму. Мама бросила все дела и поехала к папе мыть щенка. После мытья белый и пушистый щенок заснул. А мама поехала домой.

Но история повторилась, и через неделю этот щенок по имени Ступка уже жил у нас на Щипке. Он оказался милым псом, добрым и ласковым. Выполнял разные команды Андрея, а гулять выпрыгивал через форточку...

У папы и у его последней жены Татьяны Алексеевны долго жили две собаки. Джерик был Татьяниным приданым. Это был коричневый карликовый пинчер с выпуклыми глазами. Я его знала мало, здоровалась с ним из вежливости. А потом появился Топс, лохматый черно-сивый скотчтерьер с родословной, которую с выражением читала гостям Татьяна Алексеевна: «Топси Торви Фитоляка Форжинбрас». Во время еды собаки стояли у стола на задних лапах и с тоской следили за исчезающими кусками. Чтобы это выдержать, надо было иметь крепкие нервы. Папа кидал им куски от своей котлеты, и из-за этого за столом возникали конфликты. Мы были частыми гостями в Голицыне, собаки знали нас и относились к нам терпимо. До тех пор, пока Андрей нечаянно не уронил на Топсика пустое ведро. С того дня Топс возненавидел Андрея и рычал на него, скаля зубы. «Рычи, рычи, гусеница лохматая, – думала я. – У тебя и глаз-то не видно. Вот наш Ступка рычал, только когда его мыть собирались. Да и то понарошку».

Елисаветградский дедушка

Папин отец, Александр Карлович Тарковский, умер 24 декабря 1924 года в возрасте шестидесяти двух лет. Умер от инсульта, за восемь лет до появления на свет Андрея.

Знали мы о нем совсем немного, а фотографии его попали к нам году в сорок восьмом, через несколько лет после смерти папиной матери, нашей бабушки Марии Даниловны, вместе с семейным архивом.

Вот тогда-то Андрей впервые увидел своего деда. Он подолгу рассматривал портрет молодого Александра Карловича. Дедушка был красив: светлые волосы, голубые глаза, чуть сдвинутые на переносице брови вразлет.

Было что-то загадочное и романтическое в его облике, что пленило Андрея. Он даже стал чаще сдвигать брови и все поглядывал на себя в зеркало – не появилась ли у него вертикальная, как у деда, морщинка между ними.

Когда узнаешь ближе Александра Карловича – по его письмам, по его стихам и рассказам, – становится очевидным, что Андрей унаследовал многие его черты. Какие-то родовые свойства делали и деда и внука с ранних пор не способными вписаться в предлагаемые им условия жизни, будь то эпоха конца семидесятых – начала восьмидесятых годов XIX века или годы «социалистического строительства». Они были с ранней юности не такими, как все, – беспокойными, чего-то ищущими. Им было неинтересно то, что навязывалось, то, что было обязательным: реальное училище – дедушке, советская школа – Андрею.

Родился наш дед 3 октября старого стиля 1862 года в селе Николаевка (Кардашевка⁷) Елисаветградского уезда Херсонской губернии, что в двадцати пяти верстах от Елисаветграда, в доме своих родителей – отставного ротмистра дворянина Карла Матвеевича Тарковского и Эмилии (Марии)⁸ Каэтановны, урожденной Кардасевич. Александр был крещен 4 октября в Благовещенской церкви села Николаевка. Ко времени рождения Александра в семье было три дочери⁹. Сестра Надежда Карловна была много старше Веры и Александра. Она была замужем за секретарем полицейской управы Тобилевичем (будущим корифеем украинского театра, актером и драматургом Карпенко-Карым).

В 1872 году дети осиротели – в эпидемию холеры в один день скончались их родители. Отец – в Елисаветграде, куда уехал от страшной болезни, а мать – в деревне, откуда не захотела уезжать, бравируя несколько своей храбростью.

Опекуном малолетних детей и отягощенного долгами имения Тарковских стал Иван Карпович Тобилевич. Ему удалось сохранить имение, которое насчитывало 652 десятины черноземной земли. Оно не было продано за долги. Иван Карпович взял ссуду в банке, погасил мелкие задолженности, а крупных кредиторов уговорил подождать.

Чтобы выручить денег, он сдал в аренду всю землю, оставив в пользование семьи лишь небольшой участок возле дома в Николаевке.

Детей, Веру и Александра, Надежда Карловна и Иван Карпович взяли к себе в дом на Знаменской улице в Елисаветграде и отдали учиться. Веру – в женскую гимназию, Александра – в реальное училище.

⁷ В конце XVIII века деревни Николаевка и Кардашевка, принадлежавшие семьям Тарковских и Кардасевичей, объединились в одно имение.

⁸ Она получила имя Мария в три года при крещении в православную веру.

⁹ Сын Николай умер в раннем детстве. Евгения, в замужестве Титаренко, ушла из жизни совсем молодой.

Достигнув совершеннолетия, Александр Карлович стал основным наследником земли. Согласно закону, он должен был выделить сестрам по 1/14 доле от имения. Но он разделил землю родителей на три равные части, обеспечив таким образом обеих сестер.

Иван Карпович говорил о таком поступке шурина как о проявлении его «бескорыстия и шляхетства».

Реальное училище

Осенью 1872 года опекун Иван Карпович Тобилевич определил Сашу в приготовительный класс Елисаветградского реального училища. Отчего Иван Карпович отдал предпочтение реальному, а не классическому образованию, сейчас можно только предполагать.

Училище было открыто совсем недавно, в 1870 году, в прекрасном здании с оборудованными по последнему слову науки кабинетами. Там преподавали лучшие в городе и приглашенные из столиц учителя. Опекун Саши, видимо, надеялся, что тот станет технически образованным человеком и как инженер будет полезен обществу. Но годы учения показали, что реальное училище мало отвечало наклонностям Александра – скорее гуманитарным, чем техническим.

Училище было учреждено земством, и в нем учились мальчишки из самых разных семей. Здесь были дети служащих, купцов, врачей, крестьян. Там создавалась именно та атмосфера, которой опасался тогдашний министр просвещения Российской империи граф Толстой, считавший, что реальные училища могут стать рассадниками вольнодумия.

В то время, когда Саша Тарковский проходил курс обучения, директором реального училища был Михаил Ромулович Завадский, преподававший русскую словесность. Это был умнейший человек и талантливый педагог, которого уважали преподаватели и любили реалисты. Завадский умел вовлечь в занятия всех учеников. Он прививал им любовь к литературе, а главное – воспитывал их души.

Завадский был наставником в классе, где учился Александр. Так было заведено, что во время большой перемены наставник обязательно приходил в свой класс. Ученики тотчас окружали его, и начиналась общая беседа.

Одноклассник Александра Тарковского Евгений Чикаленко¹⁰ рассказывает в своих воспоминаниях:

«После убийства революционером Степняком-Кравчинским жандармского генерала Мезенцова Завадский поставил перед учениками вопрос о нравственной стороне террора. Большинство высказывалось против террора, а меньшинство, в том числе и я, говорило, что его надо признать как способ обороны против силы. Мы говорили, что если сильный повалит слабого и станет его душить, то можно целиком оправдать, что слабый укусит сильного. Директор отвечал, что это ни к чему не приведет, потому что сильный еще больше озлится и просто убьет слабого. Он ссылаясь на тогда мне неизвестного профессора Драгоманова, ученого и политического эмигранта, который решительно выступил против террора и говорил, что “чистое дело требует чистых рук” и что всю энергию молодежь должна направить на приобретение знаний, чтобы бороться со злом не кинжалами и пистолетами, а разумом и наукой.

В государственных гимназиях тех ребят, которые возражали директору, в двадцать четыре часа выкинули бы из гимназии и передали в распоряжение жандармерии, а наш директор никому ничего не рассказал и терпеливо пытался оторвать нас от террора, который насаждался тогда политическими партиями, борющимися с порядком».

Какими-то неисповедимыми путями попадала к реалистам запрещенная литература. Читали газету партии «Земля и воля», а после ее раскола – органы двух вновь образовавшихся партий: газету «Народная воля» и журнал «Черный передел».

Ученики старших классов разделились – одни шли за «Народной волей», призывавшей путем террора добиться свободы (к ним принадлежал и Тарковский), другие – за «Черным

¹⁰ Евгений Харлампиевич Чикаленко (1861–1929) – яркая личность, посвятившая жизнь украинскому просвещению и культуре. Член украинофильского кружка «Громада». Автор «Воспоминаний» (1861–1907), изданных на украинском языке Украинской Свободной Академией наук (США, 1955). Одно время жил у Тобилевичей на Знаменской улице. С любовью вспоминал Надежду Карловну. Разошелся с Тарковским, так как был таким же лидером, хоть и принадлежали они к разным кружкам: «Громада» – «Народная воля».

переделом», продолжавшим линию «Земли и воли»: через отрицание политической борьбы и террора, путем пропаганды – к социальной революции.

Помимо нелегальной литературы реалисты зачитывались Добролюбовым, Писаревым и – особенно – Чернышевским. Рахметов был для многих из них идеалом, и они закаляли свою волю, пытаясь, как их герой, спать на гвоздях.

В Елисаветграде было сильно и украинофильское движение, которое особенно усилилось после императорского указа 1876 года, запретившего обучение и публичные выступления на украинском языке.

Иван Карпович Тобилевич и доктор Афанасий Иванович Михалевич организовали кружок, где читали запрещенную «Громаду», выходившую в Женеве, «Отечественные записки», публицистические статьи, в том числе Салтыкова-Щедрина и Михайловского. Члены кружка переводили на украинский язык статьи московских народников, а Афанасий Иванович – с английского на украинский – труды Адама Смита. Писали письма и прошения в Петербург в защиту украинского языка. О государственной независимости Украины еще не говорилось, задачами кружка было возрождение языка и культуры, а через них впоследствии и возрождение украинской нации.

Вот в такой обстановке рос Александр Тарковский. В уютном степном городке Новороссии, где в одноэтажных беленых домах жили украинцы, русские, поляки, евреи, немцы, сербы, где Европа была совсем рядом, где интеллигенция боготворила театр и литературу. В реальном училище он знакомится с революционной литературой, а дома тесно общается с украинцами-«громадянами». Бунтарские идеи упали на благодатную почву его характера – честного, гордого и жаждущего справедливости.

Учился Александр без особого прилежания. Ведомости успеваемости у него не блещут отличными отметками – там мелькают все больше тройки. Неважно обстоят дела с математикой – в третьем классе у него переэкзаменовка по алгебре, в пятом ему с трудом выводят тройку по геометрии. И ведет он себя дурно. В общем, Саша доставляет педагогам немало огорчений.

Пребывание Александра в Елисаветградском реальном училище закончилось печальным происшествием, по поводу которого 22 февраля 1880 года был собран педагогический совет.

Как доложил членам совета директор Завадский, дело было в следующем:

«Преподаватель рисования Петр Александрович Крестonosцев, видя, что Тарковский не занимается во время урока, обратил его внимание и просил заниматься делом, но Тарковский продолжал читать постороннюю книгу и в то же время разговаривать со своим товарищем Чикаленко, который при этом разговоре смеялся. После этого Петр Александрович предложил Тарковскому выйти из класса. Тарковский этого не исполнил. Петр Александрович потребовал настойчивее, на что Тарковский отвечал: “Вы не имеете права кричать!” После этого ответа Петр Александрович сам вышел из класса.

Дальнейшее присутствие Тарковского в училище после такого поступка было неудобным, поэтому я просил его не посещать класса впредь до разрешения педагогического совета».

На педагогическом совете началось обсуждение «дела» Тарковского. Директор дает ученику такую характеристику: «Он неправильно посещает уроки, плохо занимается, получил в одну четверть плохую отметку в поведении. В хорошую сторону его можно сказать, что он мягкого характера. Нельзя сказать, чтобы он был глуп, с честными побуждениями, хотя увлекающийся».

Некоторые из учителей говорили в пользу провинившегося: «Он стал лучше заниматься и внимательнее слушать на уроках». Один говорил о Тарковском как о «правдивом и откровенном человеке», другой – что он «слабоволен и ленив».

Наиболее непреклонные требовали сурового наказания, «исходя из самого поступка, а не из личности ученика».

После длительного совещания педсовет постановил: «Ученика 6 класса Тарковского подвергнуть длительному аресту (на сутки), причем выражено было мнение, что Тарковскому вообще было бы полезно переменить училище, в каком смысле просить директора училища переговорить с опекуном Тарковского И.К.Тобилевичем».

Александр перестает посещать училище. Мы не знаем, подвергся ли он наказанию – аресту в карцере на двадцать четыре часа. Если да, то это было серьезным испытанием для его еще не окрепшей, но гордой души. Думал ли он тогда, что через четыре года снова лишится свободы – не на часы, а на долгие годы?

Окончание реального училища. Что дальше?

Будучи исключенным из Елисаветградского реального училища, Александр Тарковский остается дома и продолжает заниматься самостоятельно. Сестра Надежда и опекун Александра и Веры, ее муж Иван Карпович Тобилович, настаивали на окончании реального училища. Да и сам Александр понимал, что продолжить образование он сможет, лишь имея на руках свидетельство о завершении курса среднего учебного заведения.

Весной 1881 года он подает прошение на имя директора Мелитопольского реального училища и получает разрешение сдать там выпускные экзамены.

Вот какой документ получает он после испытаний:

Свидетельство

Дано сие дворянину Александру Карловичу Тарковскому, православного вероисповедания, родившемуся 3-го октября 1862 года, в том, что вследствие поданного им прошения он, Тарковский, был допущен в Мелитопольском реальном училище к окончательным и дополнительным испытаниям вместе с учениками VI класса основного отделения и дополнительного класса общего отделения и на означенных испытаниях он, Тарковский, оказал следующие успехи:

В Законе Божиим хорошие (4)
В Русском языке хорошие (4)
В Немецком языке удовлетворительные (3)
В Французском языке (прочерк)
В Географии отличные (5)
В Истории отличные (5)
В Рисовании хорошие (4)
В Черчении удовлетворительные (3)
В Математике, а именно:
В Арифметике удовлетворительные (3)
В Геометрии хорошие (4)
В Приложении алгебры к геометрии удовлетворительные (3)
В Тригонометрии хорошие (4)
В Начертательной Геометрии удовлетворительные (3)
В Естественной истории хорошие (4)
В Физиологии удовлетворительные (3)
В Физике хорошие (4)
В Химии удовлетворительные (3)
В Механике хорошие (4)
В Математической географии удовлетворительные (3).

Посему он, Тарковский, на основании ст. 95 Устава реальных училищ может поступить в высшие специальные училища, подвергаясь только проверочному испытанию.

При вступлении в гражданскую службу он, Тарковский, на основании статьи 96 Устава реальных училищ, пользуется правами, общими с

воспитанниками средних учебных заведений. По отправлении воинской повинности он пользуется льготами, представленными второму разряду по образованию.

В удостоверении чего и выдано ему, Тарковскому, сие свидетельство за надлежащей подписью, с приложением печати училища.

г. Мелитополь, июня 10 дня, 1881 года.

Директор К. Милашевич

Инспектор (подпись)

Законоучитель священник (подпись)

Преподаватели И. Черепанов, М. Дубровский

Секретарь Совета (подпись).

Итак, Александр Тарковский заканчивает реальное училище. Что же делать дальше? Какое выбрать направление в жизни? На каком поприще сможет он принести наибольшую пользу обществу, России? Определенно, что не на техническом.

Два бывших реалиста, два друга, которых судьба впоследствии разведет, дворянин Тарковский и крестьянский сын Чикаленко, в сентябре 1881 года едут в Киев, чтобы поступить на естественный факультет Киевского университета. У Тарковского имелось рекомендательное письмо опекуна, Ивана Карповича, к знаменитому композитору Николаю Витальевичу Лысенко, а у Чикаленко – письмо доктора Михалевича к профессору Киевского университета Владимиру Бонифатьевичу Антоновичу.

К сожалению, попытка поступления Тарковского и Чикаленко в Киевский университет не увенчалась успехом. В конце ноября или в первых числах декабря Тарковский возвращается из Киева в Елисаветград. В августе 1882 года два друга едут в Петербург, где успешно проходят вступительные испытания. Тарковский становится постоянным слушателем на естественном факультете Петербургского университета, Чикаленко – студентом Петербургской сельскохозяйственной академии. С 5 августа 1882 года в течение пяти месяцев Александр Карлович учится в Петербурге, а затем, по неизвестной мне причине, покидает его.

20 января 1883 года он вновь в Елисаветграде, где занимается делами социал-революционного кружка. В августе 1883 года он – вольнослушатель на юридическом факультете Харьковского университета. Здесь он еще теснее сближается с членами группы партии «Народная воля» и становится ее уполномоченным в Елисаветграде.

Битюгово

Так случилось, что много лет назад я впервые оказалась в одном дачном поселке неподалеку от Москвы. Станция Взлетная по Павелецкой железной дороге – там дача у моих любимых родственников. Домодедово, а потом Взлетная. Садовые участки расположились между железной дорогой и шоссе. Дома стоят на восьми сотках. Шумновато – гудят электрички, на соседних участках визжат электропилы, кричат дети, лают собаки. Разгар подмосковного лета!

Идем гулять – пересекли рычащее шоссе и пошли через поле к реке Рожайке. Это название, Рожайка, что-то напомнило мне, но это «что-то» не успело оформиться в конкретное воспоминание – шли мы большой компанией, разговаривали и смеялись.

Дорога вела мимо пионерского лагеря. Окрестная природа явно не выдерживала человеческого натиска – трава истерта, кусты покалечены. Унылая картина... Но когда в жарком летнем мареве передо мной показался возвышенный берег Рожайки с деревенскими домами, с полуразрушенной белой церковью, с колокольней без креста, я вдруг заволновалась. Я стала похожа на собаку, которая беспокойно вынюхивает след, суетится, теряет его и снова находит.

«Там, справа, в конце деревни должна быть одноэтажная красная школа, а кругом нее сосны, – пробормотала я. – Если школа есть, значит, это Битюгово».

Мы нашли красную школу...

Во дворе дома в 1-м Щиповском переулке был парфюмерный завод фирмы ТЭЖЭ¹¹. И заводской двор, и вход в наш дом отгораживались от переулка большими деревянными воротами с калиткой, которые каждый год перед Первым мая красили зеленой масляной краской. В переулок выходили также ворота заводского гаража, в таинственной темноте которого скрывался грузовик-полупотроха с откидными бортами. Это был объект нашего с Андреем восторженного почитания. Шофер грузовика (бабушка произносила это слово на французский лад – «шоффёр»), молодой парень по фамилии Морозов, казался нам существом высшего порядка.

Как-то мама, гуляя с нами во дворе, разговорилась с Морозовым и узнала, что он человек уже семейный. А еще она узнала, что он живет в селе Битюгово по Павелецкой дороге и что там можно снять на лето дачу.

И в мае 1941 года состоялся наш переезд в Битюгово. Вещи погрузили на морозовский грузовик, мама, Андрей и я устроились в кабинке рядом с шофером, а бабушка с Аннушкой поехали на поезде. Осенью Морозов обещал отвезти нас обратно в Москву.

В Битюгове было хорошо – речка под домом, лес рядом. Той весной сильно цвела земляника. А когда на припеке стали поспевать первые ягоды, началась война. Все мужики ушли в армию, и в их числе наш знакомый шофер Морозов.

На высоком бугре над Рожайкой оставшиеся жители рыли окопы. Пролетали немецкие самолеты – бомбить Москву. Мы стали спешно собираться в город. Я так и не сказала бабушке, что соседская девчонка украла у меня старинный бисерный кошелек – подарок моего крестного, дяди Лёвы Горнунга. Мне было стыдно говорить об этом, и я была рада, что из-за войны мы уезжаем из Битюгова и что теперь никто не вспомнит об этой пропаже.

¹¹ Трест экспериментальных жиров и эфиров.

Маскарадные костюмы

*На далекой Амазонке
Не бывал я никогда.*

Р.Киплинг

Да, мама не любила детских сборищ – там всегда мы могли подцепить коклюш, корь или скарлатину. Но в тот довоенный 1940 год папа вступил в Союз писателей, и ему очень хотелось, чтобы его дети пошли на елку в писательский клуб.

На новогодний утренник надо было приходить в маскарадных костюмах. Бабушка засела за шитье и из того, что было в доме, соорудила костюмы Андрею и мне.

Андрей был Котом в сапогах. У него был полосатый шелковый камзол, бархатный берет со страусовым пером и длинный меховой хвост на проволоке. Меня нарядили японкой. Из восточного вышитого ковра, привезенного маминим дядей, врачом Николаем Ивановичем Вишняковым, с Русско-японской войны, бабушка сшила кимоно, а привлеченный к подготовке костюмов дядя Лёва Горнунг сделал мне шелковый веер и нарисовал на нем хризантему. Веер был не складной, а овальный, натянутый на каркас.

Потом дядя Лёва долго подравнивал мне волосы. Я сидела, крепко зажмурив глаза, с ужасом слушая лязг ножниц возле уха, а мелкие волоски падали мне на нос и на щеки, противно щекочась.

Что же осталось в памяти от той елки? Смутно вижу тесный угол вестибюля, где мы переодевались, какие-то ступеньки. Вспоминается подарок – серый цыпленок из искусственного меха. Единственное, что я хорошо запомнила, – это слова незнакомого мальчика, который, кивнув на мой веер, сказал презрительно: «Японка с колотушкой!» Как же это было обидно!

Я сразу возненавидела злосчастный веер. Но через несколько дней мне пришлось снова взять его в руки, потому что пришел дядя Лёва, чтобы сфотографировать нас в маскарадных костюмах. Взрослым, конечно, и в голову не приходило, каким мучением было сидеть перед фотоаппаратом с моей «колотушкой».

К Андрею тоже приставали на елке – дразнили и дергали за хвост. И теперь он с неохотой его прицепил. Потом решили, что он станет флибустьером, открывателем новых земель, таким гумилевско-киплинговским капитаном. Так дядя Лёва и снял его. Андрей в шляпе с пером гордо стоит у Южного полушария, показывая рукой «далекую Амазонку».

А вот и я на фотографии – девочка в кимоно с ровно подстриженной челкой. А в руках – веер.

Утренник

В конце войны Андрей и я несколько раз ходили на детские утренники в писательский клуб. На пригласительных билетах стояло: «Дорогой Андрей (или: Дорогая Марина), приглашаем тебя» и так далее. Видимо, тогда было мало писателей или у писателей было мало детей, нас называли по имени, а не «Дорогой друг», как позднейших детей многочисленных писателей. И я скажу, что это было приятно, хоть и удивительно – откуда в Литфонде знают мое имя?

До войны мама редко водила нас на подобные мероприятия, боялась детских инфекций, но теперь отпускала охотнее, ведь утренники сопровождались кое-каким угощением.

В этот раз нам выдали по бутерброду с колбасой, а в знак того, что мы их получили, на пригласительных билетах простым карандашом поставили галочки. Мы мгновенно съели свои бутерброды и томились у стены в ожидании концерта. К нам подошел наш лагерный – наверное, лучше сказать пионерлагерный – друг Ясик Штейнберг. Он взял наши пригласительные, достал из кармана ластик, стер галочки и поставил нас снова в очередь. Так мы получили по второму бутерброду.

Потом начался концерт. Выступал фокусник, тянул из блестящего цилиндра бесконечные цветные платочки; подкидывал булавы радостный жонглер. Толстая певица, сжимая под грудью руки, пела романс «Весенние воды», хотя утренник был новогодний и на дворе трещал мороз. Потом вышел известный детский писатель. Он рассказывал о подвиге военного летчика. Говорил о тупоносых мессершмитах, которые огромной стаей шли бомбить наш город, о красном звездном истребителе, в одиночку атаковавшем фашистскую стаю. Выступал писатель с жаром, все больше воодушевляясь. Вытянутой ладонью руки он показывал, как юркий «ястребок» уходил от пулеметных очередей. Почему-то было неловко его слушать, и хотелось, чтобы он поскорее закончил. Казалось несправедливым, что одни воюют, а другие рассказывают про их подвиги.

Мадам Эжени. Перепись населения

Мама после ухода папы стала устраиваться на работу, а мы, тогда совсем маленькие – Андрею четыре с половиной года, а мне – два, «связывали ее по рукам и ногам». Так говорила бабушка. Она недавно овдовела – в тридцать шестом похоронила своего мужа, врача Николая Матвеевича Петрова. Теперь она захотела помочь маме и забрать нас к себе в Юрьевец на несколько месяцев.

Неподалеку от нас в Москве жила одна мамина знакомая француженка. Была она одинока, и бабушка уговорила ее поехать в Юрьевец, чтобы помогать ей там в воспитании детей. А заодно учить их, то есть нас, французскому языку. Договорились, что за это мадам Эжени будет получать деньги и жить на всем готовом.

И вот мы у бабушки, в старинном, почти сплошь деревянном городке на Волге, в котором после революции ничего не изменилось, разве что названия улиц. Мы жили на улице Энгельса в доме № 8¹². Говорили, что этот просторный дом принадлежал многодетному купцу, которого переселили вместе с чадами и домочадцами в его же сарай во дворе. А дом сделали коммунальным. Комендантом назначили партийную жиличку Харламову, маленькую стриженую тетку с бегающими злыми глазами, всегда находящуюся на грани истерики, как все партийные выдвиженцы того времени.

Бабушка занимала две смежные комнаты, а ее домашняя работница Аннушка жила за занавеской у окна в конце общего коридора. Любимицу Аннушки, корову Голубку, недавно продали – уж больно дорогое стало сено, – и Аннушка ходила за молоком на соседнюю улицу, презрительно поджав губы от стыда за наше бескоровье.

Из того пребывания в Юрьевце я хорошо запомнила крапиву, которую мадам Эжени клала нам в постели, чтобы мы не вертелись и поскорее засыпали. (В литературном сценарии «Зеркала» Андрей сильно преувеличил, написав, что в его детскую кровать мадам Эжени клала муравьев.) Еще помню дядьку в валенках, который приходил нас переписывать. Как раз в январе 1939 года проводилась та первая советская перепись населения, плачевные результаты которой стали известны только во время перестройки. О предстоящей переписи много и хвастливо писалось в газетах. Велись разговоры и среди населения. Говорили, что будут выявлять верующих – среди четырнадцати вопросов один был о религиозной принадлежности. Бабушка и Анна, плотно закрыв дверь в коридор, долго спорили, как быть. Напишешь «верующая» – могут посадить, напишешь «неверующая» – согрешишь, предашь веру, да и солжешь к тому же. Интересно, что они все-таки написали? Теперь уже не у кого спросить...

В тот день, 17 января, был сильный мороз, и мы сидели дома. И вдруг к нам пришел переписчик. Я была очень маленькая и поэтому хорошо разглядела его аккуратно подшитые, с капельками воды от растаявшего снега валенки и стоящий на полу подле них черный дерматиновый портфель. Переписчик стал опрашивать всех по очереди. Дошла очередь и до Андрея. Дядька перечислял вопросы, а Андрей и бабушка отвечали.

Так добрались до пункта о грамотности. «Я грамотный», – сказал Андрей. Переписчик не поверил и засмеялся. «Я грамотный», – повторил Андрей, и голос его задрожал от обиды. Тут вмешалась бабушка и подтвердила, что мальчик действительно умеет читать и писать «по письменному». Тогда переписчик, все еще не веря, взял портфель, достал из него газету «Правда» и сказал: «А ну-ка, читай!» Андрей прочел название передовицы и несколько абзацев. Пораженный переписчик, привыкший ставить прочерк в этой графе опросного листа, написал про

¹² Теперь эта улица носит имя Андрея Тарковского, в доме открыт музей.

Андрея «грамотный». А вскоре в местной газете было опубликовано сообщение о том, что в результате переписи выявлен мальчик Андрюша Тарковский, который умеет бегло читать.

Что же касается французского языка, то мы его так и не выучили. Вся эта затея с бонной-француженкой оказалась еще одной бабушкиной утопией. Мадам Эжени с удовольствием вела с бабушкой пространные беседы по-русски, а бабушка старалась блеснуть перед ней своим кулинарным искусством. Прожив так несколько месяцев, мадам уехала в Москву. Больше мы никогда с ней не встречались и не узнали ни ее фамилии, ни истории ее жизни. Впрочем, случайно мне стала известна ее последняя страница. Спустя лет пятнадцать я шла с мамой по Большой Пионерской улице¹³. Мама кивнула на двухэтажный, с башенкой, дом и сказала тем своим тоном, который я назвала бы грустно-повествовательным: «А вот здесь жила мадам Эжени. Помнишь ее?» – «А где она сейчас?» – спросила я. Мама помолчала немного, а потом ответила: «Ее выслали из Москвы в начале войны. Тогда многих выслали... Только не болтай об этом!»

Вот так случилось, что я почти не помню нашей довоенной бонны. Сохранились лишь смутные ощущения, какие-то обрывки картин – высохшая и уже не страшная крапива в моей детской кровати, лужайка возле Симоновской церкви, давно снесенный дом в Замоскворечье и это изящное французское имя – мадам Эжени.

¹³ До революции – Большая Дворянская улица.

Кусок торта

Юрьевец довоенный... Чужой человек – переписчик населения, его большие валенки, покрытые каплями растаявшего снега, черный портфель. Бабушкины коленки, разбитые о булыжную мостовую, когда она шла к знакомым покупать для нас клубнику. Бывший актер с княжеской фамилией Телепнев – наркоман с лицом провинциального трагика. А еще сделанная в ателье фотография. Мы сидим на большом старинном кресле, явно экспроприированном у какого-то местного богача. Такие ухоженные и благопристойные дети, какими уже никогда больше не будем.

Юрьевец военный... Комнатка в два окна в доме № 8 на улице Энгельса. Дерево напротив, плещущее ветвями во время летней грозы. Кафельная лежанка, на которой мы отогревались в морозы. Наш самолет, севший на лед Волги, и два летчика. Один остался у самолета, а другой сказал: «Ребята, ведите меня в ресторан», – и толпа счастливых мальчишек повела летчика в город. Детская библиотека с ее особым запахом чернил и зачитанных книжек. Ивановская гора, высокие санки-каретки. Комья смерзшегося конского навоза и клочки оброненного с розвальней сена, в котором я так любила узнавать летние травы и цветы.

В Юрьевце военном мы не снимались. А если бы такое произошло, то на фотографии отобразились бы наши заострившиеся скулы и блестящие глаза. Не забывается чувство голода. Но еще труднее забыть историю с куском торта «наполеон».

Мама не могла найти работу, и чудная Людмила Александровна Бобылькова, директор «флягинской»¹⁴ начальной школы, пригласила ее быть кем-то вроде художественного руководителя. Мама готовила с детьми самодеятельность к праздникам – к Первому мая, к Седьмому ноября и к Новому году.

К новогоднему утреннику начали готовиться в декабре сорок второго года. Андреев класс должен был строить «пирамиду», и меня, как самую маленькую и легонькую, Андрей заставлял стоять наверху, на чьих-то колеблющихся плечах. Мама разучивала с девочками «Танец матрешек», а учительница музыки, эвакуированная ленинградка по прозвищу «Три полена» (однажды она была уличена в хищении дров), репетировала с Андреем «Веселый ветер» Дунаевского.

Но гвоздем новогоднего утренника должно было стать праздничное чаепитие. Деревенские дети, а их среди школьников было немало, принесли масло, яйца, муку, и учительницы сделали слоеный торт «наполеон» по бессмертному французскому рецепту. Испекли коржи, смазали их кремом и оставили на ночь пропитываться.

После праздника учителя разделили между собой оставшиеся куски торта. Мама принесла домой два куска, один из которых дала нам. Оставался еще один, про который мама сказала: «Не ешьте!»

Кусок торта лежал на тарелке в резном бабушкином буфете. Стоило встать на табуретку и открыть застекленную дверцу, как нас обдавал сдобный запах «наполеона», от которого кружилась голова и замирало дыхание.

Мы крутились возле буфета, мы поминутно открывали его, чтобы взглянуть на этот треугольный слоистый кусок. Наконец Андрей не выдержал. «Давай съедим, – сказал он. – Все равно мама разрешит, когда придет».

Мы поделили кусок пополам, зная, что мама и бабушка наверняка откажутся от своей доли в нашу пользу.

¹⁴ Школа находилась в доме, отобранном после революции у купца Флягина.

Вскоре пришла мама. Сделав кое-какие домашние дела, она сказала: «Надо сходить к Надежде Ивановне. Она заболела и не была на утреннике. Я взяла ее кусок торта. Сейчас отнесу».

При этих словах она открыла буфет и увидела пустую тарелку, на которой и следа от торта не осталось.

«Мама, мы съели торт», – в ужасе пробормотал Андрей. Я заплакала. И наша мама, у которой не было ни муки, ни масла для нового «наполеона», сказала: «Ладно, только не ревите. Это я виновата – не сказала, что торт чужой. Придумаем что-нибудь вместо него для Надежды Ивановны».

Начальная школа. Веснушки и любовь

Московская школа № 554, в которой учился Андрей начиная с 1939 года с перерывами на войну и на болезнь, находилась в Стремянном переулке. Была она стандартной – четырех-этажной, построенной из красного кирпича в начале тридцатых годов и стояла в глубине переулка, окруженная большим двором и невысокими старыми домами. (Здание школы, хотя и перестроенное слегка, сохранилось, в нем и сейчас занимаются дети.)

В начальной школе Андрюша учился хорошо. Ребятишки в классе были по большей части из рабочих семей – район наш был заводской. И Андрей выделялся на общем фоне, он пришел в школу, уже умея читать и писать «по письменному», тогда как большинство первоклассников только узнавали буквы.

И в первом и во втором классах он был образцовым учеником-отличником, аккуратно подстриженным, с белым воротником. Мама хранила его тетради, заполненные красивым, старательным почерком.

Третий и четвертый классы пришлось на войну и на эвакуацию. И в начальной юрьевцевской школе Андрей учился неплохо, хотя уже не был таким старательным, как раньше, «выезжал» за счет общего развития и начитанности. Там он считался «первым парнем», покорял сердца одноклассниц, хоть и был, по воспоминанию одной из них, «небольшого росточка и с веснушками».

Веснушки были бичом нашего Андрея. Каждую весну они высыпали на его носу, и он считал, что они очень вредят его красоте. В письме от 24 февраля 1943 года мама написала папе: «...А сейчас, Асик, сидели наши кошки у фитилька, Маришка решала: $20: 5 = 4$; $4 \times 5 = 20$, а Андрей смотрел у нее из-под локтя. Вот она подняла лицо и заохала: “Андрюшка, какой у тебя рот красный, ой, какой красный!” <...> Затем Марина нашла, что рот у него красивый, а минут через пять он ее попросил посмотреть, есть ли у него веснушки. Значит, он все эти пять минут взвешивал свои плюсы и минусы, веснушки – крест его жизни. Марина утешила его, что сейчас не очень они видны, а летом будут “и тут, и тут, везде”. “Ну, уж летом я буду в Москве” – что это за скачок мысли? – видимо, ему надо, чтобы сейчас не было веснушек...»

Да, мама была права, дело обстояло именно так. Но, несмотря на веснушки, девочки из класса влюблялись в него и засыпали его записками. Например, такого рода (орфография и пунктуация автора записки): «Милый Андрей! Ты на меня не обижайся. Ты думаешь, что я тебя изменила, а на самом деле это не правда. Я тебя не изменила и не буду. Ты скорее меня изменил потому, что ты сначала гнался за И.К., а потом она уехала и ты стал гнаться за Т.Г., потом ты меня спросил что за кем я гонюсь я сказала, что за тобой и ты стал гнаться за мной. Тебе наверное захотелось меня изменить. Из-за того ты и сказал, что я тебя изменила, а я не изменила, я тебя люблю. Милый Андрей, я тебя не изменила, я тебя люблю... Ты очень красивый, я таких красивых еще никогда не видала, только вижу двоих тебя и Берштейна. Я тебя очень люблю».

Подобные свидетельства почти зрелых чувств одиннадцатилетних юрьевчанок мама находила «пошлыми», они приводили ее в ужас. Но я думаю, что способа борьбы с их появлением найти было невозможно ни в одном педагогическом учебнике.

Это понимал папа, который в ответ на мамины сетования по поводу записок писал с фронта:

«...Что делать с этим – я не знаю. Раз уж это началось, то остановить – невозможно, даже если ты будешь действовать самым осторожным образом... Может быть, было бы хорошо объяснить ему, что любовь не только то, что у них ребята имеют в виду, а чувство и благородное, и ведущее к самоотверженным поступкам, и к “немому восхищению”, заставляющее ста-

новиться лучше – и прочее... Раз у него это уже началось, то надо устремить его страсти-мордасти по хорошему пути, а задерживать водопад – дело пустое.

У меня волосы зашевелились на голове, когда я прочел твою копию с этого произведения, уж очень страшно за него стало и обидно как-то. Я понял, что это будет совсем как у меня, ранние страсти и мучения. Боюсь только, что у меня они были романтичней, чем будут у него, а безудержность и очертя-голову-бросание такое же. И так как я думаю о своем опыте, то знаю, что важно воспитать в Андрюшке умение считаться с окружающими, бросаясь в любовь, и полагать, что не все дозволено. Постарайся внушить ему, что нельзя доставлять людям страдания ради своих любвей, – к несчастью, я понял это слишком поздно. Объясни ему, что хуже всего позднее сожаление о том, что кому-то сделал больно. Если он не эгоист в самой худшей форме, то он это должен понять.

А что делать теперь – кроме этого – не знаю, может быть потому, что не представляю себе форм нынешнего флирта в Юрьевце среди этих – не моих романтических времен – ребят. Не надо все-таки пугаться Андрюшкиных страстей и делать так, что все это станет соблазнительным запретным плодом.

Скоро и Мышь (мое домашнее имя. – *М.Т.*), должно быть, начнет получать любовные письма, и тогда мое сердце окончательно сожмется от боли».

Наверное, и мамино сердце сжималось от боли, когда она читала папины слова о его поздних сожалениях, явно к ней обращенные.

А Андрюшка, которому было одиннадцать лет, когда он уезжал из Юрьевца, скоро забыл юрьевецкие страсти. В конце войны обучение стало раздельным, так что в Москве роковых соблазнительниц за партами в одном классе с ним не оказалось.

1-й Щиповский переулок, дом 26, квартира 2

Когда я слышу ностальгические вздохи по коммунальным квартирам, я им не верю. Почему-то авторы этих вздохов с подозрительной поспешностью разъехались из прославленных «коммуналок» в отдельные квартиры. Что касается меня, то я бы с удовольствием росла в большой квартире или, еще лучше, в особняке. А почему бы нет? Ведь жили родители нашей бабушки в собственном доме на Пименовской улице. И неплохо жили, судя по ее рассказам.

Наше с Андреем детство было счастливое. Во всяком случае, так утверждали плакаты, висящие в школе на каждой свободной стенке. Протекало оно в двух десятиметровых полуподвальных клетушках по вышеозначенному адресу. Квартира № 2 была небольшая, но вполне сносная для одной семьи. А жило их три. Самая большая комната принадлежала дяде Лёне Гликману – доброму спокойному инженеру. Он получил образование в Германии, но работал незаметным надомником – переводил технические тексты. Жена его, красивая и интеллигентная Мария Борисовна почему-то очень боялась «бытовых насекомых» и тщательно застилала сиденья в бане белой простыней, принесенной из дома. Над ней посмеивались и говорили, что Гражданская война давно окончилась. Но судьба подстерегла Марию Борисовну, и она умерла в эвакуации от сыпного тифа. Ее место на двуспальной никелированной кровати заняла их домработница Настасья. У нее были острые черные глаза и неуравновешенный характер. Став законной женой дяди Лёни, она заботилась о нем с преданностью бездетной русской крестьянки. Она до своей смерти ухаживала за его могилкой на еврейском кладбище. Заботы о дяде Лёне не помешали Настасье стать любовницей монтера Сергея, жившего с женой и двумя детьми в третьей комнате квартиры № 2.

Эта комната была когда-то проходной и принадлежала Гликманам – до войны в ней жили родители дяди Лёни, тихие, трогательные старики. Сын монтера был сильно нечист на руку. Он воровал все подряд, включая банки с вареньем. Воровал и у нас, и у дяди Лёни. После очередной кражи монтер подучил Настасью написать в милицию, что ворует не его сын, а наша бабушка Вера Николаевна. Заодно он попросил свою родственницу Смирнову, жившую в нашем же доме, обокрасть саму себя и тоже сказать на бабушку. Та выполнила его просьбу с большим удовольствием. Ведь это ее сын обчистил нас до нитки в сорок третьем году, когда мы вернулись из эвакуации...

Прихожу из школы, а у нас в комнате сидит огромная овчарка. Оказывается, собака быстро нашла на чердаке «украденный» узел и привела к его хозяйке Смирновой. А уж потом милиционер с собакой пришли к нам, чтобы успокоить бабушку. Так восторжествовала справедливость.

Но соседка Настасья не унималась и еще долго подливала керосин в наши кастрюли, которые мы доверчиво оставляли на общей кухне. Почему наш суп частенько пахивал керосином, я поняла позже, когда Настя, поссорившись с монтером, налила ему в чайник слабого. Тогда как раз к его дочке, тихой беленькой Раечке, пришли подружки на день рождения...

Перечитала все это, и тошно стало! А я и десятой доли не рассказала о квартире № 2. Но надо все-таки порадовать любителей «коммуналок». Настя осознала свои грехи и, упав бабушке в ноги, просила прощения. А получив его и всласть поплавав, она опять пошла в милицию. Теперь она заявила, что у нас собирается подозрительная компания. Андрей уже учился во ВГИКе, и «подозрительными» были Володя Китайский, Вася Шукшин, Саша Гордон – его однокурсники.

Но бдительная соседка опоздала с доносом – шел пятьдесят восьмой год...

Еще долго Настасья Егоровна звонила мне по телефону. Она интересовалась, скоро ли откроется музей Андрея на Щипке, и вспоминала, как хорошо жилось нам всем когда-то в доме № 26. Я ей не возражала – к чему обижать людей?

Пальто на ватине

Наша бабушка Вера Николаевна была очень хозяйственной и рукодельной. Вечно она что-то перекрашивала и перекраивала – для мамы, для папы и для нас, ее внуков. Так, папе она сшила по патронке шубу – теплое зимнее пальто, и папа его с удовольствием носил несколько лет.

Однажды осенью 1936 года, когда бабушка гостила в Москве, к родителям зашел их приятель. Это был Володя З., очень милый «окололитературный» мальчик. На улице лил холодный осенний дождь, а он пришел к Тарковским раздетым. Володя объяснил, что утром, когда он выходил из дому, было ясно и тепло. Посидев какое-то время и напившись вечного московского чая, он стал собираться. Тут-то мама и бабушка в один голос предложили Володе надеть папино зимнее пальто, шубу, как тогда говорили. При этом бабушка похвасталась, что оно очень теплое, на шерстяном ватине, купленном ею в торгсине. Володя надел пальто, поблагодарил и ушел. Шло время, но возвращать пальто он не спешил. Бабушка уехала к себе в Юрьеvec и оттуда письмом напостила ему, что надо бы вещь вернуть, на что Володя ответил, что сделает это обязательно.

Наступила зима. Бабушка не могла смириться с потерей. Она пишет папе и просит его выручить пальто: «Ася, молю тебя, сходи к З. и возьми шубу. Ведь это, наконец, с его стороны свинство – узнать, что там хорошее нутро, и замотать ее. Буду Марусе шить или тебе переделывать – ватин понадобится». Почти в каждом письме к маме бабушка напоминает о пальто с возрастающим возмущением. «Что вы мне ничего не пишете? Видно, З. так и замотал нутро из Асиной шубы, когда узнал, что там хороший ватин. Я сразу почувствовала, что он ее не отдаст».

Но ни папа, ни мама так и не сходили к З. Папа занимался своими литературными и сердечными делами, а у мамы наступал паралич воли, когда ей надо было заявлять о правах даже на свою собственную вещь.

Зима тридцать седьмого года подходила к концу, а Володя так и не появился. И было решено, что он окончательно заиграл это несчастное пальто...

Весенним мартовским днем 1959 года я сидела на скамейке возле дома с маленьким сыном на руках. Он был завернут в шерстяное одеяло, и солнышко светило на его спящее личико. А кругом журчали ручьи и весело чирикали пережившие зиму воробышки.

Ко мне подошел незнакомый пожилой человек. Он был нищенски, но аккуратно одет, при галстукe, и на ярком весеннем солнце особенно жалко выглядели его редкие седые волосы и блестящие металлические зубы. «Ты Марина! – утвердительно сказал он. – Я тебя знал совсем маленькой. А где твои родители?»

Я ответила на его вопрос и пригласила зайти к нам домой. Мама сразу узнала его...

Так вернулся Володя З. Он рассказал, что его взяли весной тридцать седьмого.

Теперь стало понятно, почему он не вернул папино зимнее пальто на шерстяном торгсиновском ватине.

Начало

В конце марта 1932 года Арсений и Маруся отправились в рискованное путешествие – выехали из Москвы в село Завражье Юрьевоцкого района (теперь Кадынского района Костромской области). Это было довольно большое село с пятиглавой церковью (в которой позже крестили Андрея). Стояло оно на левом берегу Волги недалеко от впадения в нее реки Нёмды. Там жили мамины мать и отчим – Вера Николаевна и Николай Матвеевич Петровы. Отчим был врачом и работал в местной больнице, а квартиру снимали в доме Кудряшовых на втором этаже. В Иваново-Вознесенской области Петровы оказались в самом начале двадцатых годов. Они уехали из Москвы по двум причинам – чтобы не умереть с голоду и чтобы Николай Матвеевич мог удовлетворять свою неудержимую страсть к охоте. Выбрали волжские места, потому что он родился в городе Шуе, тоже Ивановской области. Жили Петровы при больницах – цели купить собственный дом как-то не ставили – в Кинешме, в небольшом городке Юрьевце, в Завражье. А после Завражья – в поселке с загадочным названием «Красный Профинтерн». «На Профинтерне», – говорила бабушка. Мы много раз спрашивали, что такое «Профинтерн». Мама и бабушка говорили что-то про профсоюзный интернационал, что вызывало еще большее недоумение в наших детских умах, потому что никак эти слова не увязывались с тихим заволжским поселком, с широкими волжскими плесами, с запахом мокрой древесины, воды и гудками пароходов. А Юрьевец оказался единственным приволжским городом, построившим дамбу и сохранившим таким образом свой облик: центральная улица, идущая параллельно Волге, и взбирающиеся на горы перпендикулярные улочки и переулочки.

В одном из писем мама написала о своем «положении», и из Завражья посыпались письма с просьбами и мольбами (бабушке был присущ высокий стиль) рожать у Николая Матвеевича в больнице.

А путь был неблизкий и трудный. Сначала – поездом до города Кинешмы, тогда поезда на паровозной тяге шли туда около суток. В Кинешме на привокзальной площади стояли ямщики с лошадьми, ждали пассажиров (лошади ели овес из мешков, надетых на морды, рядом ходили куры, прыгали воробьи – тоже питались). Родители сговорились с одним из ямщиков и поехали – километров семьдесят на лошадях, в розвальнях. Дорога шла вдоль Волги, потом по замерзшей реке. Волга должна была того гляди вскрыться, и они боялись, что не успеют добраться до места.

Вот мамино письмо, которое так и не было отправлено. Адресовано оно в Москву, папиной сестре, с которой мама очень дружила. «29 марта. Милая Лёничка! Доехали мы хорошо, то есть я не родила. Ехали долго, с трех дня до пяти ночи, три часа кормили на постоялом дворе лошадь, а сами ходили и мучались, скоро ли она накормится. Дорога разбита ужасно...» Предполагалось, что мама родит числа двадцатого апреля, но дорогой ее сильно растрясло, и роды начались раньше срока. Маму не успели отвести в больницу. Рожать пришлось дома, на обеденном столе. Наша милая бестолковая бабушка так разволновалась, что забыла, где находится дом акушерки, и они с папой с трудом ее разыскали. Принимали роды Николай Матвеевич и акушерка Анфиса Осиповна Маклашина. После того как все завершилось, отчим сказал маме: «Ну, Маруська, следующего рожай где хочешь! Слишком уж нервно – принимать у своих».

Сохранилась тетрадь – «Дрилкин¹⁵ дневник», который родители начали вести с первых дней появления Андрея на свет. Это листы бумаги, сложенные вдвое и прошитые нитками. Писали родители по очереди – у кого было время и силы. Иногда записи идут подряд, иногда несколько дней пропущено. В дневнике подробно рассказано о первых трех месяцах Андреевой жизни.

¹⁵ Дрил, Мадрил и Гамадрил – персонажи поэмы Н.Подгоричани.

Дневник открывается папиной записью от 7 апреля 1932 года: «В Завражье в ночь на 4 апреля, с воскресенья на понедельник, родился сын... Пятого был зарегистрирован, назван Андреем и получил “паспорт”».

Глаза темные, серовато-голубые, синевато-серые, серовато-зеленые, узкие; похож на татарчонка и на рысь. Смотрит сердито. Нос вроде моего, но понять трудно, в капочках. Рот красивый, хороший...»

Папа со свойственным ему нетерпением сразу же взял справку о рождении сына. Написана она рукой акушерки (орфография как в оригинале):

Удостоверение

Гражданка гор. Москвы Мария Ивановна Тарковская 1932 года Апреля 4-го разрешилась живым сыном. 1932 года, 4.IV.

Акушерка Завражской сов-больницы

А.Маклашина.

Врач Н.Петров.

А на следующий день папа поспешил в Завражский сельсовет (он никак не хотел ждать до Москвы) и на основе этого удостоверения получил на Андрея свидетельство о рождении. Бланк отпечатан на простой бумаге, за годы свидетельство о рождении пожелтело, обветшало, оно тщательно подклеено мамой.

Во время войны в Юрьевец, где мы жили в эвакуации, Андрею пришло письмо. От папы, с фронта. На стороне, где пишется адрес, сверху напечатано: «Смерть немецким оккупантам!» Имеется штамп: «Просмотрено военной цензурой». На обратной стороне – текст, написанный химическим карандашом папиным красивым, аккуратным почерком:

«4.IV.1943. Дорогой, родной мой Андрюша, поздравляю тебя с днем рождения. Я болен и лежу в госпитале, скоро уж меня выпишут. Я так хорошо помню, как ты родился, мой милый. Мы с мамой ехали до Кинешмы поездом, а оттуда на лошадах до Завражья. Волга должна была вот-вот тронуться. Мы ночевали на постоялом дворе, и я очень беспокоился за мамочку.

Потом родился ты, и я тебя увидел, а потом вышел и был один, а кругом трещало и шумело: шел лед на Нёмде. Вечерело, и небо было совсем чистое, и я увидел первую звезду. А издали была слышна гармошка, и это было одиннадцать лет назад...»

Вот так родился Андрей, и вот почему у него в графе «Место рождения» стояло «Село Завражье Ивановской области».

Вернемся в 1932 год. Посылаются телеграммы в Москву. Бабушка Вера поздравляет папину мать, Марию Даниловну, с рождением внука; она впервые подписывается своим новым званием – «бабуся». Папа сообщает своему другу литератору и фотографу Льву Горнунгу: «Четвертого родился сын, благополучно. Тарковский». А вот – ответная телеграмма. Она еще лаконичнее, чтобы не расходовать зря слова, да и деньги, в которых у Льва Владимировича всегда была нужда: «Поздравляем всех. Горнунг». Эмоции были позже, ближе к осени, когда Горнунг самолично приехал в Завражье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.